

ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДОСТЬ

ПИСАТЕЛЬ
И ЖИЗНЬ

ТРУДНО представить себе квартиру драматурга без афиш его спектаклей. Есть они и в рабочем кабинете Николая Федоровича Погодина — три афиши премьер спектаклей, самых дорогих сердцу писателя: «Человек с ружьем» в Театре имени Евг. Вахтангова, «Кремлевские куранты» и «Третья патетическая» в МХАТе имени Горького. А всего им написано около сорока пьес.

Но рукопись, лежащая сейчас на столе, явно не имеет никакого отношения к драматургии. Это проза. Знакомый многим по отрывкам, напечатанным в «Литературной газете» и «Комсомольской правде», роман «Янтарное ожерелье».

Погодин, как прозаик, переживает сейчас пору своей творческой юности. Может быть, отчасти поэтому после долгих размышлений и бесед со своим близким товарищем по перу В. Катаевым писатель принял решение печатать «Янтарное ожерелье» в журнале «Юность».

— Странно, что я молодой прозаик, — весело говорит Николай Федорович, — но сие так и есть. Первая проба, наверное, окажется первой пробой со всеми присущими ей особенностями. Роман пока еще очень взвешенный, все в нем не гладко, есть огрехи. И по технике, стили, по языку, по манере выразиться он обладает свойствами юности, присущими начинающему автору. Я и рад выступить начинающим писателем, рад, что журнал «Юность» принимает меня на свои страницы. Очевидно, я не утратил еще своей связи с молодежью.

Творческие замыслы приходят к Погодину внезапно.

— Я за такое возникновение желания писать, — говорит он, — какое, по преданию, было у А. Н. Островского.

И здесь я услышала от Погодина рассказ, который он называет своей «заповедью»: Островский шел по глухой темной улице Костромы в сумерки перед грозой. Откуда-то из-за частокола, с веранды, мелькнул свет керосиновой лампы. Послышался женский плач. Больше ничего. Так появился образ Катерины в «Грозе».

Внезапно возникло и у Погодина желание писать свое «Янтарное ожерелье». Однажды он увидел в окне перед собой «марсианина» в капюшоне с большими стеклянными глазами... А потом из-под защитной маски рабочего-пескоструйщика выглянуло озорное мальчишеское лицо с усмешкой: мол, здорово вас напугал?... Писатель спустился вниз и долго молча наблюдал за работой юношей и девушек, просеивавших на улице песок и чистивших стены дома. — А что, если подойти к ним поближе, раскрыть их внутренний мир?..

— Я очень люблю своих ребят, — говорит Николай Федорович. — Люблю потому, что сам вышел из этой стихии, знал их в тридцатые годы, знал и теперь. Знаю, потому что не считаю себя автоматом с записной книжкой, а таким же участником современности, как и все наши молодые и старые люди. Поэтому я обращаюсь со своими героями, как обращается человек, которому они очень близки. Не говорю им комплиментов, не глажу их по головке, а веду себя с ними, как с равными. И не боюсь быть дидактичным, не боюсь вторгаться в их мир и, может быть, по-старомодному договариваю свои мысли до конца. Я пишу свое повествование о молодежи с единственной целью — показать, где она хороша, где дурна, где неотразимо прекрасна...

Новый человек поистине нов. Это живая конкретность, живые качества, которые отделяют его от прошлого. Они накладывают строгую и определенную черту на человеческий характер, решительным образом определяют поступки человека и создают в конечном счете особую социалистическую личность. О ее новой социалистической морали и хочется поразмышлять вслух. Наша новая мораль не упала с неба, она вышла и укоренилась из людских отношений, построенных на труде. И

мне важно видеть собственными глазами, как в малом и большом проявляется социалистическое поведение людей.

— Иногда нас просят, — продолжает Николай Федорович, — раскройте двери творческой лаборатории. Но что же такое творческая лаборатория современного советского писателя, если он действительно хочет быть современным? Помоему, это прежде всего его размышления на тему о том, что ведущее, решающее, главное пронизывает сейчас нашу жизнь, наполняет наши мысли, вдохновляет наши сердца. А техника творческой лаборатории драматического писателя может заключаться иногда в восьмушке листа писчей бумаги, где будут изложены замысел и план будущей пьесы. Для ее первого варианта порой бывает достаточно двух-трех недель, а затем многие месяцы уходят на художническое терпение. Под ним я понимаю кропотливую, упорную работу, то, что на профессиональном языке называется шлифовкой, отделкой характеров, языка, ситуации, то есть все то, что называется снимать покровы с грубо написанных портретов.

Уже около тридцати лет рабочий день Погодина начинается с заводским гудком.

— Когда наши герои становятся на рабочее место, я сажусь за письменный стол, — говорит он. — Почему-то меня считают человеком необыкновенной трудоспособности. Только успел сдать театру две новые пьесы, а уже закончен роман... Удивляются, когда я успеваю писать. Но никакой особенной работоспособности я за собой не замечую. Мне скоро шестьдесят лет, но тем не менее ни ощущения перегруженности, ни чувства переутомления у меня нет. Я хотел бы, чтобы те, кому есть что писать, усвоили простую и давно известную истину — надо ценить утренние золотые часы нашего уединения. Мне кажется, что этому следует серьезно учить нашу молодежь в Литературном институте. Очень грустно бывает наблюдать в разговорах с начинающими литераторами, что они порой не понимают или не желают понимать, что работа писателя требует железного ритма, ежедневной тренировки, как, скажем, труд спортсмена или балерины. Надо, чтобы труд шел вперед таланта, а не талант вперед труда!

Добавлю еще одну очень важную вещь. Привычка к ритмическому труду не дает нашему брату вылететь из литературной тележки на крутых поворотах. Как известно, я писал пьесы, которые на сцене не шли. Но у меня не оставалось времени для переживаний. Пока они где-то «проваливались», я был уже захвачен новой, задуманной или начатой пьесой. И некогда было сидеть «у разбитого корыта».

Драму писать трудно, и тем более драму современную, где на первый план надо ставить начало позитивное, то есть искать и искать новый вид драмы — небывалый, проникнутый радостью, счастьем... Если во все времена, начиная чуть ли не с поры греческого театра, писатель драматический нес особую нагрузку, связанную с представлением его произведений на сцене, то в наше время, вполне естественно, эта нагрузка сделалась более ощутимой... Иначе и быть не может. Мы строим первое в мире коммунистическое общество и должны быть весьма прилежными, горячими, нетерпеливыми в своем переустройстве жизни народа.

Мы, драматурги, должны и можем воплотить нашего замечательного современника, но сделать это мы можем в том жанре, формы и границы которого точно установлены. Если мы нарушим эти формы и залезем в другие области литературного ремесла, то никакой зритель этого не потерпит и смотреть наших пьес не станет... И вот, к сожалению, в последнее время нам, драматургам, приходится как бы бороться за самый жанр, разъяснять, чем, например, отличается драма от оды и что оды в драматической форме не получается.

Но не только это вызывает досаду у Погодина. Он с присущей ему прямолинейностью и резковатостью говорит о

всем том, что мешает развитию советской драматургии.

— У нас в драматургии и театре так много самостоятельности, что за ней подчас исчезают порядок и ответственность. Чтобы мы как-нибудь не оступились, не упали, не сломали себе ручку и ножку при этой самостоятельности, работники министерств культуры нас со всех сторон опекают, хватают за руки, даже суют в рот бутылочку с рожком...

Получилась парадоксальная вещь: рядовой сотрудник наших двух министерств культуры в Москве имеет все возможности поставить под сомнение пьесу и создать вокруг спектакля атмосферу подозрительности или опасливого молчания, а то и вовсе подсказать театру снять пьесу. Министры всех пьес не читают, не смотрят и не должны... Бедная драматургия мечется в мелких морях чиновничьих бурь...

И это тем более досадно, что партия предоставила широчайшие возможности для развития драматургии, для творческих поисков. И вдруг появляются люди, которые пользуются своим положением, начинают навязывать писателям свои вкусы, свою личную волю.

— Удивляет детское повторение пройденного, — с горечью продолжает Погодин. — Для того чтобы в том и другом министерстве наставить больше птичек в рубрике современных пьес, поощряется драматургическая поделница. Я имею право так говорить потому, что жил и живу современностью. Но мне казалось, что уже в тридцатых годах мы покончили со скилками, которые поощряют неумение и нежелание серьезно работать. Попробуйте в наше время более или менее профессионально говорить о таких пьесах, как «Сын века» И. Курпирянова, и подымутся — да что там подымутся! — уж поднялись вопли о том, о другом, о третьем... И все эти явления, ненужные, недостойные нашего великого театра, вредные для его развития, не могут меня, естественно, не раздражать. Апологетика посредственности, серость, мякина вместо слов, деревянные болванки вместо людей — вот наше горе и несчастье.

Разговор касается еще одной проблемы, которая вызывает глубокую неудовлетворенность писателя.

— Я часто прихожу в уныние, — говорит Николай Федорович, — от иных наших кинокартин, от наших пьес, где я кое-что понимаю. В них, увы, почти нет элементов поэтичности. Почему со сцены и с экрана мы должны слушать людей, которые с точки зрения хорошего вкуса плохо себя ведут и дурно говорят? Это отнюдь не народность. Все мы как-то поем, и поем иной раз неплохо, но ведь слушать со сцены мы желаем хороших певцов, в совершенстве владеющих своим искусством. Я не хочу отрываться от земли, и современники должны узнавать себя, но надо, чтобы та поэзия, которая существует в жизни, больше присутствовала в наших героях, в их языке, поступках, чтобы крупицы поэтичности составляли музыку произведения. Иначе, с чего будут брать примеры наши зрители? Писатель не должен забывать об этом, и прежде всего писатель молодой.

Как всегда в беседе с Николаем Федоровичем, замечаешь его характерную черту. Роман только что закончен, а он уже с увлечением рассказывает о своей новой пьесе «Живые цветы». В замысле ее снова ощущается дыхание нашей современности — она будет посвящена молодежи. Ее герои — участники бригад коммунистического труда.

— Сейчас много говорят о связи с жизнью литераторов, а значит — и самой литературы. Мне это очень нравится, хотя бы потому, что я в душе газетчик, издавна подвержен «культу факта»... И вот сейчас, когда у меня на руках материал на три пьесы, поеду в Ленинград, на Ленинградский металлургический завод, в бригаду Ромашова.

— Потому что, — заключает нашу встречу писатель, — как же не ездить, не встречаться... просто отстанешь от людей с их понятиями, стилем, пафосом.

В. ГОЛУБЕВА

Николай Федорович Погодин